

И ИСПОЛНИТЕЛЬ

«...Они целовали друг у друга руки и, казалось, не могли наглядеться один на другого. Они всегда так встречались и прощались...»

Я мало знаю строк, столь же трогательных, потому, конечно, что речь в них о людях, очень для нас небезразличных: один из них — Пушкин, другой...

Но вот тут запнешься. Второй — Дельвиг, и можем ли мы сказать, что его имя тоже способно взволновать само по себе? Не думаю, увы. Неисправимый ленивец. Поэт несамостоятельный настолько, что пускался даже слух, будто «стихи барона Дельвига» есть плод совместных усилий, да не очень даже усилий, так, шалостей его друзей Пушкина и Баратынского. Что там еще? Да, беспечальный сибарит... Вот легенды, окутавшие облик человека, для которого даже положение нежнейшего пушкинского друга оказалось в памяти потомства опасным поводом к полупочтительному забвению; легенды, которые упрямо опровергает артист, Анатолий Адоскин в телевизионной композиции «О Дельвиг мой...».

Это прекрасная работа. Я делаю ударение на обоих словах, на втором, на «работе», пожалуй, даже с особенным нажимом, ибо прежде чем стать серией блестящих перевоплощений — то в самого Антона Антоновича, то в лицейского гувернера Мейера, то в Фаддея Булгарина, ей, работе, пришлось-таки пройти период библиотечный, черновой, «потный»: «автором и исполнителем» значится в титрах Адоскин, и это тот случай, когда исполнитель талантливо воплощает то, что выносил в себе автор.

Летучие цитаты из разнообразнейших мемуаров, обрывки документов, стихи, стихи, стихи; детали вполне разнокалиберные, среди которых и страшный разнос Бенкендорфа: «Вон, вон, я упрячу тебя с твоими друзьями в Сибирь», и опровергающая самую оскорбительную из легенд трагически мощная Дельвигова «Элегия», стихотворение прямо пушкинскими силами. А если придется к случаю, то и забавное воспоминание Пушкина, как юный очкарик-лицеист Дельвиг, прознав о приезде в Лицей обожаемого Гаврилы Романовича и вознамерившись поцеловать руку, написавшую «Водопад», донельзя сконфужен был обиденностью кумира, спросившего, где здесь нужник... Все это идет в дело, все образует привлекательнейший (ну, это куда ни шло, этого никто и не оспаривал) и драматический облик поэта, который был... кем? Ленивецом? Допустим. Однако отчего-то он успел за краткий век не только сочинить том стихов, но и издавать «Литературную газету», «Северные цветы», быть журналистом, критиком, который вроде бы сибаритствовал, от всего на свете отшучиваясь своим: «Забавно», — а на деле пережил тягчайшие драмы. В том-то, впрочем, и беда, что не пережил, не сумел, погиб, ибо был человеком напряженнейшего существования и чувствования.

Я сказал, что Адоскин опровергает легенды, — да, но дело тут совсем не в полемике, дело в способности вчитаться, вдуматься, взглянуться. Оттого и обнаруживается очевидное, однако ж почему-то многим очам прежде не видное: и в судьбе самого Дельвига, и в характерах тех, кто его окру-

Булгарина, который представляет в адоскинской работе с той, пожалуй, выразительностью, какой прежде я не встречал в биографических спектаклях и фильмах. Вот он в исполнении Адоскина (и в соответствии с историческими сведениями) — огромный, неуклюжий, с топорными чертами, с прерывистой речью; вот он, снедаемый, как мы сказали бы сегодня, комплексом неполноценности, отчаянно самоутверждается, оповещая о своих чрезвычайных заслугах перед российской словесностью, и как становится понятно не вызывающее сочувствия, неизбывное тщеславие человека, кричащего о своих победах и знающего, что побежден...

Это третья телеработа Адоскина о лицеистах того удивительного выпуска; первая, о Кюхельбекере, прошла по всем программам ТВ, наверное, уже раз двадцать, вторая, о Пущине, к тому помаленьку приближается. Что до третьей, то, надеюсь, в этой цифре нет намека на благополучное завершение некоей трилогии, — лично я, телезритель, не удовлетворился бы и тетра... и пента... Ибо сколько еще судеб, сколько людей того времени и той породы, о которой начат разговор! Может, героем следующей композиции станет Федор Матюшкин, человек удивительной судьбы? А то и Горчаков, последний лицеист, чья судьба была предсказана пушкинским: «Кому ж из нас под старость день Лицея торжествовать придется одному?»

Тем более, что «автор и исполнитель», оба, набирают силы: очень эмоционально помня пронзительное чувство сиюминутного сопереживания с бедой чудака Кюхли, я вижу трезвым оком, что новая работа актера обрела особое совершенство. Хотя бы в смысле именно актерском, пластическом.

Признаюсь, пуская неизбежную слезу над драмой Кюхельбекера, я все-таки полагал, что причина успеха еще и в совпадении, так сказать, типажном. В чудаческой пластике артиста, которому так часто приходилось играть неудачников и милых растяп.

Нет, я ошибался.

Вот совсем, совсем другой человек, не угловатый, взвинченный Кюхля, а медлительный, покойный, глубоко прячущий свои беды Дельвиг, так глубоко, что не углядишь... да, именно человек, а не условно изображаемое лицо. Мне некогда думать, кто тут кого играет, мне не до того, и разве что время от времени я спохвачусь, что Адоскин, долговязый, худущий, вдруг становится похожим на Дельвига. Даже округлость откуда-то берется, даже милая полнота... или это только кажется?

Так или иначе, и на сей раз я не просто внимаю хорошим стихам и интересным воспоминаниям, но вижу человека. Сопереживаю с судьбой. А, выключив телевизор, предаюсь своим профессиональным размышлениям. Дескать, вот идут нешуточные споры о том, как растрачивают свои силы и дарования артисты, уступая соблазнам, суетясь между театром, кино и телевидением. Все так, но вот же он, пример обратного, когда человек приходит на третью программу ТВ, чтобы не растрачиваться, а сосредоточиться, а, может, в некотором смысле и взять реванш у собственной судьбы за то, что не сыграно и не будет сыграно. Приходит, чтобы работать.